

Ю. И.
АЙХЕНВАЛЬД

Избранное



Юлий Исаевич Айхенвальд
Помяловский
Серия «Силуэты русских
писателей», книга 57

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2610465

Аннотация

«Помяловский – большая литературная возможность, которая не успела осуществить себя вполне, но проявилась уже все-таки во многом и ценном. Одновременно бурсак и романтик, писатель безобразия и поэт Леночки, изобразитель грубого быта и тонкий психолог, он был жестоко надломлен жизнью, впечатлениями „кладбищенства“ и бурсы, и потому на его произведениях осталась печать нецельности...»

Юлий Исаевич Айхенвальд

Помяловский

Помяловский – большая литературная возможность, которая не успела осуществить себя вполне, но проявилась уже все-таки во многом и ценном. Одновременно бурсак и романтик, писатель безобразия и поэт Леночки, изобразитель грубого быта и тонкий психолог, он был жестоко надломлен жизнью, впечатлениями «кладбищенства» и бурсы, и потому на его произведениях осталась печать нецельности. Он даже своему художественному делу не отдавался беззаветно, ему беллетристика не всегда казалась самоцелью; нередко прерывал он ее вставками делового содержания – например, каким-нибудь педагогическим рассуждением, страницами об институтских порядках. В самом таланте его слышится некоторый привкус автодидактизма; и точно сам автор считал себя эстетически неравноправным, неполноправным и не дерзал на чистое искусство. С другой стороны, его дарование, хотя и не подражательное, полно тех мотивов, что звучат и у наших классиков. У Помяловского есть сатира и реализм, которые напоминают Гоголя; в изображении молодой любви к вещам и комнате, к хозяйственному и семейному комфорту, к уютной оседлости есть что-то гончаровское; наконец, мы слышим и тургеневские звуки – там, где Помяловский описывает любовь и кисейную девушку.

Он был отравлен в преддверии жизни – в детском аду своей школы; и с тех пор истерзанную душу свою ничем уже не мог он целить – разве алкоголем, который в конце концов, или, вернее, в начале начал, совсем молодым, и потопил его в своей мертвой пучине. Двойник Карася, того мальчика, который был физически и нравственно иссечен на первых же шагах своего школьного пути и в «мертвенной безнадежности», в «глухом отчаянии» заглянул в «широкую, бездонную, зияющую пропасть бурсацких ужасов»; которого свирепо истязали на лобовских «воздусях», так что в кричащее «живое мясо впивались красными и темными рубцами жгучие, острые, яростные лозы», – Карась-Помяловский навсегда сохранил мучительные воспоминания, и тень всяческого цинизма, бесстыдной розги, злой нелепости оскорбила его воображение, надвинулась на его духовный мир. И возникло отвращение к жизни, недоверие к людям – темный и жуткий скептицизм. В лице художника Череванина изобразил писатель такое ужасающее уныние, такую смерть в душе, такое ощущение безысходной скуки и нигилизма, что всякому становится близкой и страшной та мука, которую тщетно заливали вином и Помяловский, и его герой, его доверенное лицо. В нашей литературе нет страниц большей безнадежности, чем те, на каких высказывает свое мирозерцание Череванин, воспитанный кладбищем и повсюду видящий одни только «веселенькие пейзажики», т. е. сплошную муть глузости и страдания. Он думает не только о своей физической

смерти, о том, как «захлопнут гроб крышкой и завинтит ее вечным винтом вечного цеха мастер, гробовщик Иван Софронов»; он испытывает такое настроение, что вся жизнь вообще – длительная смерть и мы только и делаем, что умираем, замираем, отходим. «Знаешь ли, – что значит честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума, смотреть в свою душу не подличая, а если не веришь чему, так и говорить, что не веришь, и не обманывать себя? О, это тяжелое дело!.. Я не хочу вашего спокойствия. Есть страшные мысли в мире идей, и бродят они днем и ночью, и когда рисуешь, и когда вино пьешь. Особенно когда находишься один, глухо вокруг тебя, задумаешься, фантазия и образы растут, мысли поднимаются на такую высоту, что кажутся дикими; но идет за ними душа до тех пор, что начинаешь бояться за свой рассудок и в страхе хватаешь в руки голову... Но редко я живу теперь мыслью, состарился и измучился бесплодно. Гаснет хмель в речах, всякая мечта замирает, не чувствую злости ко злу, расположения к добру, смех пропадает: хоть бы совесть мучила, и того нет; скоро я, кажется, совсем мучиться перестану, – останется одна бесчувственность... Не желал бы я воротить свою молодость! Ей-Богу, не желал бы! Не надо мне ее, не надо! Это время выработки идей, непонимания жизни и осмысливания ее, взьерошивания волос, – одушевленные лица, бессонные ночи, горячие речи, – все это опротивело мне, потому что человек как ни горячится, а все-таки кончит тем, что оплешивеет и окиснет. А где же моя

детская жизнь? Она стала предметом умозрения, фантазии, общих фраз и слепого воспоминания. Все состояния тела и души, все, что составляет жизнь, есть предмет забвения. Все события от времени потеряли цвет подробностей и значение внутреннего смысла, цепь жизни разорвана на куски, пружины и кольца распаялись. Чем доказать, что я жил? Пусть другие нас забудут: надо ли думать о бессмертии? но неужели я так ничтожен, что не стою собственного внимания и памяти? Скучно, скучно!»

Самый лишний из наших лишних людей, страдающий от того, что мы не стоим собственного внимания и памяти, воспринимающий жизнь как вечные похороны, Череванин не хочет никакого самообмана, гонит иллюзии, «смотрит прямо в лицо пучеглазой совести» и не находит опоры ни в себе, ни в других. Он равнодушием к себе и к другим платит за то равнодушие, которое встречает сам и которое в круговой поруке бесстрастия объединяет всех. «Заснула ли (чья-нибудь) жизнь, как болото, захрясла ли в бедности, истомилась ли в болезни, заглохла ли в невежестве, пороке... – много ли нас тревожит жизнь? Равнодушны мы к ближнему; редко можем понять его несчастье». И погружается живописец «веселеньких пейзажей» в душевное оцепенение, в какой-то «обморок нравственный».

Молодая героиня Надя Дорохова тоже страдает от сознания того, что все гаснет и забывается.

Но мотивы Череванина Помяловский не только таил в се-

бе – он их и преодолевал. Он не хотел смерти, он искал живых источников в той пустыне, которая расстилалась перед его духовными глазами. В его книгах часто слышится обращение к читателю и его дружбе; писатель как бы спрашивает его мнения и совета, его участия и сотрудничества. Даже несмотря на резонерство, которому иногда отдается Помяловский, чуются невыплаканные слезы, желание счастья, утешительных идеалов, путеводной звезды; есть добрый юмор, снисхождение и потребность в улыбке, тихой радости, сердечном отдыхе. Однако где же, в ком или в чем этот отдых найти? Его не дают воспоминания прошлого, потому что прошлое – это бурса, ее кошмары, и, как Молотов, должен был и сам Помяловский говорить о себе: «Где те липы, под которыми протекло мое детство? – Нет тех лип». Нет и будущего: одинокий и несчастный, он только грезит о «семейном круглом столе», за которым можно было бы посидеть «просто так, сложа руки», о «ласковом слове любящей женщины», которое «много значит в жизни человека». И читатель, к которому так доверчиво взывает автор, может оказаться одним из персонажей последнего, одной из жертв его справедливой сатиры (а ею, как уже упомянуто, значительно владеет изобразитель «Мещанского счастья»); читатель, может быть, похож на тупого и самодовольного Семена Ивановича («Вукол»), который книг вовсе и не читает, а высшее наслаждение находит в том, чтобы у себя в кабинете перебирать гербовую бумагу.

Наконец, и та пристань «семейного круглого стола», к которой тяготеют житейские рыцари круглого стола и которая рисовалась грезам самого Помяловского, – не усыпляет ли и эта идиллия склонную к дремоте человеческую душу? По крайней мере, нарисовав «мещанское счастье», остановился перед собственной картиною наш художник и произнес эти гоголевские слова: «Эх, господа, что-то скучно!» Все та же неодолимая череванинская скука!.. От нее не мог найти Помяловский спасительного убежища в людях, взрослых людях, потому что лучшие из них – Молотовы. А Молотов, физически и морально приземистый, сам понимает свое сходство с Чичиковым, свое честное приобретательство и буржуазность. Нужно было Помяловскому, для утешений, которых он жаждал, для спасения от «кладбищенства», нечто большее, чем мещанское благополучие. И это большее он находил в женской и в детской душе. Пути же к ним он отыскал потому, что сам имел душу очень внимательную.

Действительно, психологический слух этого бурсака отличается незаурядной тонкостью. Может показаться странным наше сопоставление, но все-таки верно, что у Помяловского есть черты, общие с Фетом. Автор «Очерков бursы» умеет воспроизводить почти неуловимые мгновения психической жизни, он разбирает душу на ее тончайшие волокна, он расщепляет природу на нежные детали и оттенки. Недаром он часто говорит о «полу-мыслях», о «полувнимании»: ему слышны все полутоны душевной музыки. Он удивитель-

но следит за игрой сознания и бессознательности и любит проникать в мерцающие, неясные зыби, в туманы духа. И в связи с этим его пейзажи всегда тонки и повиты дымкой соответственных настроений. «Стоголосый соловей пустил над рекой свой яркий, сладострастный ропот... а река спит под темно-голубыми небесами, спят деревня, леса, поля и теплый воздух; заснули люди и животные... и соловей задремал... тише... тише... Озноб пробежал по телу, брезжит утро; загорается ранняя заря, а с ней опять майская жизнь... Так совершаются в природе майские погоды, цветут весенние звезды, темно-голубые и темно-синие ночи и первые зори»... «Сверчок барабанит, оса жужжит густо, кузнечик отколачивает металлические звуки, тонкой иглой вставил комар свой голос, а наверху с визгом несутся стрижи, а еще выше – небо голубое, беспредельное, океан лазури и благодати Божьей»... «И пели птицы тихие песни. Река в крутых берегах поднимала грудь свою; винтом прошел луч солнца до самого дна реки; летит мошка над водой; кузнечик трепещет в осоке; толпы комаров венчают свадьбу; по траве прошел мягкий ветер и стыдливо прокрался в сочные волны ее; горит медный крест колокольни. И поют легкие птицы тихие песни, и радуется мое оскопленное, старческое сердце, глядя на счастье молодых людей».

На этом фоне он написал «счастье молодых людей», любовь, и свою лучшую героиню – «кисейную девушку». Его большая заслуга – в том, что веселую и пустенькую Леноч-

ку, «гибкую, стройную, черноглазую козочку», он принял серьезно и разглядел в ней внутреннюю печаль, проявил так много внимания и участия к небогатому, но милому кисейному сердцу. С нежностью и грустью смотрит на нее Помяловский и знает, что она «всю ночь проплакала и все понять не могла, отчего же нас любить нельзя? отчего?». Он разделяет ее тоску и радуется ее недолгой радостью.

«— Люби меня, Егорушка, – прошептала Леночка. Молотов молчал. Леночка поцеловала его в лоб. Молотов ни слова».

А главное, Помяловский оправдал кисейную девушку, защитил ее и показал, что любить ее можно. Под его пером, от его пристального психологического взора, Леночка явилась перед нами духовно выросшая: ее возродила, ее углубила любовь и открыла в ней ценные возможности одухотворенной жизни. «В ее поцелуях... было что-то серьезное; стан ее выпрямился, она точно больше ростом стала; во всей ее позе была решительность и какая-то женская смелость и отвага». Кто любит, тот непременно значителен и оригинален, у того – самостоятельность и живое творчество. «Любовь – это такая книжка, которую всякий сам сочиняет и автор которой всегда оригинален», – замечает наш писатель.

Кисейная девушка, полюбив, перестала быть кисейной: этого не понял Молотов, потому что он был честный Чичиков, потому что он был душою бледен и скуден, – иначе он от себя многое придал бы Леночке, зажег бы в ее душе тот

огонь, на который она была способна. Но меньший, чем Лелюшка, покинул ее Молотов, а с нею остался и разделил ее тоску Помяловский.

Еще больше, чем оправданная и опоэтизированная кисейная девушка, его от полной безнадежности, от череванинского мрака спасали образы детей. Изобразитель бурсы – редкий психолог детского сознания, художник внутреннего расцвета и даже предрассветной душевной поры. Он хорошо знает – как выразились бы теперь – психологическое мифотворчество: он всматривается в тот уголок души, где наедине с собою и с предметами обстановки молчаливо создает ребенок свои «сказки и мифы», так что в прихотливую вереницу образов, и чувств, и смутных идей претворяются такие микроскопические явления, как «паутинка, отдаленное тиканье маятника, жужжание мухи на стекле, мириады золотых пылинок и крапинок на яркой полосе солнечного света». Так же внимательно и сочувственно провожает Помяловский и дальнейший рост ребенка – его душу, которая может озлобиться и задумать «гиперболическую месть», но которая еще более склонна к примирению и ласковости. В хаосе бурсы замечает ее бытописатель многие разновидности детского и юношеского типа, и между ними, со свойственной ему, не всегда затаенной нежностью, рисует он мальчика, который в слезах «мечтает о матери, сестрах, о соседнем саде помещика, о пруде, где он ловил карасей»; или вот нелюбимый, превратившийся в фискала и всеми обижаемый Семенов вспо-

минает родную семью, добрую мать, брата и сестренку, щебечущих у стола, на котором звенят чайные ложки, блюда, – и в невыразимой тоске прислоняется он к стеклу и рыдает; или избитый, избороженный Карась, глотая соленые слезы, умоляет отца: «Тятенька, возьмите меня домой». В детях – спасение. Помяловский видел их и в бурсе, он знал их как уродов, – но все же именно детское сердце было для него лучшей драгоценностью мира.

Нет ничего более идиллического и умиротворяющего, чем разговоры Егорки Молотова с его отцом; нет большей ласки, чем отношение Помяловского к Вуколу, безобразному и испуганному ребенку с большой головой.

Или вот маленький Федя в одной рубашонке, на босую ногу, встал с теплой постели и тихонько подкрался к спавшей сестре, которую обидел отец, потому что она хотела выйти за того, кого любила, а не за старого генерала Подтяжина. «Какая же она развратная? – прошептал братишка и заботливой детской рукой закрыл обнаженную грудь сестры. Потом он тихонько наклонился и поцеловал сестру в щеку, робко и осторожно. Точно от этого поцелуя лицо ее просветлело, слеза замерла в дрожащих ресницах, и, вдруг склонив голову на влажный локон, она вздохнула легко и спокойно. Вся тиха и счастлива покоилась Надя, облитая лунным светом, легшим золотыми полосами по шелковому одеялу. Долго смотрел на нее брат. Но вот он отошел от постели, стал горячими коленями на холодный пол и прошептал молитву, в которой

слова и чувства были ребячьи. Не долго он молился, но хорошо, лучше своей матери. На другой день мальчику очень хотелось сказать сестре, как он молился за нее, но стыдно было, неловко. Вырастет большой – расскажет. Эта молитва будет дорога ему и тогда, когда он утратит самую веру. Бывают в детстве такие молитвы».

И еще многие, не только пугающие, но и кроткие образы детей создал Помяловский, любовно воспроизвел их маленькие души и, в гроб сходя, в свой ранний гроб, благословил. Ибо в конечном счете он был за детей, за молодость. Пусть, «как ни горячись, все-таки оплешивеешь и окиснешь», пусть молодость кончается, – пока она есть, она прекрасна, и ею любит приветливый писатель. Себя он считает старым, усталым (он умер на двадцать девятом году от роду); однако вместе с юношами готов он петь их веселые гимны. Ибо приобщаются юности те, кто дружелюбно слушает ее песни. К таким слушателям и принадлежал наш безвременно угасший автор. Он сознавал себя только временным собственником жизни, которую нужно передать ожидающим новым поколениям, грядущей человеческой волне; он видел в себе нравственного завещателя и, горестный, страдающий, любил своих наследников. Они любят и его. Наша литература добрым словом благодарности и сочувствия поминает этого художника-бурсака, эту умную, даровитую, но загубленную натуру, этого человека, который родился на кладбище и в жизнь свою много принес от смерти. Недаром,

однако, на кладбище так обильно разрастаются цветы; и вот кладбище с цветами является эмблемой этого творчества и поясняет нам писателя, который носил в себе черное бремя пессимизма, тоски, не верил взрослым, но зато любил детей, был одновременно и скептик, и лирик, испытал грубое, циничское, дикое, но раскрыл свою душу и для Леночки, для милой, отверженной кисейной девушки...